

**Николай Васильев**

# Нефть звенит ключами

«СТЕКЛОГРАФ»  
МОСКВА 2020

УДК  
ББК  
В19

Васильев Николай  
В19 Нефть звенит ключами / Николай Васильев  
М.: Стеклограф, 2020. — 74 с.

ISBN

© Н. Васильев, 2020  
© «Стеклограф», 2020

## Под летным снегом

Книга, с которой предстоит встретиться читателю, одновременно захватывающая и ускользающая. Едва откроешь, и тонешь — там «предвечных волн совсем черна вода», там новое, потстапокалиптическое и вместе очень русское лукоморье с русалками, витязями-попутчиками, найденными, кстати, во всемирной сети, и прочими чудесами, которые Николай Васильев описывать мастер. Но едва настроишься слушать нечто внятное и неторопливое, стихотворение ускользает от пристального внимания читателя как вольный стрелок в заснеженные ветви: либо уже закончилось, либо фраза попала острием в облако и искать ее земное значение уже бессмысленно.

Стихотворения Николая Васильева почти невозможно понять и объяснить; милая банальность, что поэзию объяснить нельзя, тут уже не работает. Но в них есть сразу же действующая на читателя мощная сердечная струна, так что смех или слезы все равно при чтении будут.

*и оттуда, где чёрного неба и звёзд хор и шёлк,  
именной между прутьями лиры куда — королю —  
этот падает снег, но идёт, будет всё хорошо,  
я не знаю, но я говорю*

В русской поэзии есть поэты-сновидцы, говорящие на странном неземном языке, путаном и ломаном с точки зрения грамматики и синтаксиса, но внятном любому нутру: что профессора, что гопника. Это и Батюшков, и Тютчев, и Блок, и Хлебников, Павел Васильев, Владимир Державин и (в конце двадцатого века) Александр Башлачев, Егор Летов и Алексей Парщиков. Но было бы нечестно и невежливо по отношению к живому поэту сравнивать его единичные опыты с единичными опытами почивших поэтов. Однако есть все же несомненное родство: в любви к снегу и понимании его речи, в чтении по небесам, в женских «глазах чугунной богородицы» (В. Хлебников). Здесь сквозь силлабо-тонику проступает, как кости сквозь тощее тело, свободный стих, а свободный стих (в довольно необычной форме) мягок как колыбельная.

*всё в одно сплавляется течение,  
чему я слышу в голосе её  
великое, лихое утешенье?*

Книга разворачивается плавно, в обе стороны, из сердцевины (посреди Мги или Тосно), поднимается в кульминации до «летнего снега», до прямо невысказанной (здесь снова зигзаг) параллели поэт — летчик-испытатель, и завершается почти пророческим, темным испугом, разродившимся тихим и уже зрелым плодом: «боль и страх нетерпимы/ любовь вызывает жизнь». В этом финале вся поэтика Николая Васильева: боль и страх олицетворяются, именно они нетерпимы более, чем может быть нетерпимым к чему-то человек. Дело не в том, что боль или страх нельзя вынести —, это они не выносят человека. Самый финал, три слова, как «казнить нельзя помиловать» запятой не требует, это легкий и точный росчерк в конце. Здесь не просто вопрос поиска новой сакральности, о которой тоскует значительная часть думающих современников, здесь уже опыт ее; здесь Бог как попутчик, он рядом, но договориться с ним невозможно.

Николай Васильев воспринимает географические понятия как нравственные, а нравственные и религиозные — как географические и даже топографические. Венера здесь точка неверия (не-вера, только буквы переставлены, но по модулю то же), Бог как город, уже никогда не станет прежним (здесь отмечу своеобразное переживание Вознесения), а будничные день напоминает Бологое, Мгу или Тосно, в которых ненароком застрял. Это расщепление зрения и других чувств открывает невероятные возможности для словотворчества (чем автор без всякого зазрения пользуется, например: изпочемучен), но и создает вокруг стихотворений герметическую оболочку, не позволяющую проникнуть до конца внутрь смыслов и настроений. А впрочем, в поэзии важнее всего тайна. И она есть в бегущем огне этих неприбранных, идущих рядами облаков стихотворений.

Однако причем тут нефть, да еще звенящая ключами? Ключи, кстати, как говорит поэт, серебряные. Нефть для многих народов Зауралья есть кровь земли, а серебро символ воды. Однако нефть без воды не

бывает, они почти всегда рядом. Город или село видятся поэту как некое нефтеносное месторождение, где есть и серебряные ключи. Нефть намного легче воды, она всегда на поверхности.

*вот Меркурий, он так, для отмера,  
вот неверия точка Венера  
чуть подальше, невидимо, вера,  
где на лестнице сумерек нефть  
серебром ключевым прозвенела  
от твоей ли квартиры, да нет*

*не подбрасывается монетка,  
молча плавится там изнутри,  
в мелких контрах и контурах снега  
капитальный сбывается риск*

Жить—это и есть капитальный риск, любовь провоцирует этот риск. Словом, книга о жизни и о любви, выходящей за пределы земли, почвы, как нефть.

*Наталья Черных*

посреди бела дня, словно Мги посреди или Тосно,  
по каким-то делам у вещей имена ещё те—  
с интервалом в тритон электрички, да бедные сосны  
грабят почву, а солнце их ставит спиной к пустоте

и дорога уходит на две разделённые дали,  
как свои же черты преходя, заступая с концом,  
из обоих, друг другу ничем не родных зазеркалий  
в оба зеркала смотрит, решаясь, родное лицо

снег бодяжит весна, с каждым годом сомнительней кроет  
неподъёмную глушь, потому и объёмы растут—  
но и здесь ты не здесь ни родился, ни умер порою,  
даже если родился и умер практически тут

есть у истины выбор, одной только ей и по праву,  
меж законов своих просиять беззаконье одно—

чтоб в аду областном под мазутом и кровью канава  
у апрельского неба рискнула спросить, кто оно

примолкшая в пути, как под не первым снегом,  
припадочная глубь, истерика-тоска  
приснись мне, говорит, побудем человеком  
минуту или две, прощаемся пока

к чему ни подойди — края видны заране,  
как будто жизнь честна, как девушка, со мной,  
как будто не моя, прямее и поганей  
недолго говоря в подмёрзший перегонной

зачем мы и при чём — за стенкой, при режиме,  
в один прекрасный день, в одну прекрасну дрянь  
мне выродилось всё, чужое и чужие,  
и сам себе никто, ни прочая родня

и потому в твои — настроиться на резкость —  
поэзии глаза пытается душа:  
там тьма-сыра звезда, и вышек по-над лесом  
ещё пристоеен рост, ещё достоин шаг

удивляясь присутствию в них,  
удивляясь отсутствию в них  
безымянного неба взрывного на эти слова —  
ты в маршрутке до офиса повремени, вздремни,  
на краю у людей существуя вполне едва

нежилая дорога, забита по край собой,  
отторгает, как зеркало, в равнокипящую глушь  
на уме у лесов мы — а ну-ка, встряхни головой,  
что ты видишь бездонную чушь

не мигая, в застывшем, сияющем, ледяном поту  
светит пристально зимнее солнце в дырявые сны —  
как пустое вино на стеклянном снегу,  
как распахнутая на холодном полу  
пропасть-ярость-забота — трофейным пальто  
пред соитием, после войны



над центром областным пылает и синеет  
и признаётся там, в себе, само себе,  
что я не о семье, о цельности скорее,  
и я не о любви—скорее, о судьбе

но узел центральной—из рваной пуповины,  
свобода держит нас, а долг велит пустить,  
и выкройки твои не слишком очевидны,  
фундаментальный твой подвыподверт и стиль :

о север всех южан и всех скорбящих радость,  
я оглянулся раз, не выпав из креста—  
и счастье в глазах стояло, будто август,  
на буфере, догнав столыпинский состав

и я оставлю это никаким,  
несглаживаемым —  
не сглазить то, чего не сгладить

вот рана чистого лица  
шершаво чистый подбородок воли

дыра в причинно-следственных и небо

и я оставлю это никаким,  
как нежность или страсть,  
оставленности страх,  
и целое его неисцелимо —  
ребёнок сердца в погребальной урне

тут всё не так, да это контрабанда —  
ломоть, отрезанный на будущую власть

так глубоко, что всё с той поры —  
по пунктирной вене изгнания —  
привокзальные помню дворы  
и прожектор вокзальный

там, где сроду не пахло тобой,  
где и быть-то тебя не должно быть —  
пропасть детства взирает на мой  
ностальгический опыт

и ещё б я теперь не поэт,  
если, столько скитаясь о доме,  
понабрёл на нешуточный свет  
в приотвёрстом надломе —

между ними, похоже, всерьёз,  
посмотри-ка большими глазами —  
лишь поехавшей крыши вопрос  
между ними и нами —

смерть и ужас мелькают во мне  
пристязными вокруг коренного  
огонька сигареты во тьме  
единенья ночного

черноглазую трещину выну я и посмотрю,  
столько дней неужели она только это и значит—  
я в тебе навсегда и тебя никогда не люблю—  
вроде смерти она, а всего лишь дурная удача

листьев мокрое пламя за сдвинутой влагой стекла,  
и трава между шпал—и земля, протяжённая немо,  
признаёт, что совсем не чужой, хоть и не родила,  
«...хорошо, не ублюдок»—промолвит надбровное небо

это больше обиды и весит, как горе, и ты  
сам не знаешь, куда мне расти из такого, куда же—  
нерушимое сердце моё продолжает идти  
по разбитой дороге пешком всё туда же

не сестра, а жена мне сестра, от того и затем  
я безроден при родине и без вины виновен—  
потому что и ты не отец мне, а брат, отец,  
но с разрывом отцовским, сыновним

я эти посмотрю порой ладони,  
желая что-то выжать и сказать:  
высотки у простых небес на фронте,  
в ничьих июля выжженных глазах

и если б я был должен не родиться,  
то верно, отказался бы собой—  
без горестных мозгов и принцев датских  
и без теней, а просто, как любовь

но след от самолёта всесожженья  
и так над тем и только тем, где мы—  
и слово «кто» ничто ещё свежее  
и с большей тягой по огню дымит

всё равно что у моря погоды и хлеба просить поперёк земли,  
на которой я вроде бы жив меж столиц, разноправных и разнобылых —  
всё равно что, да ладно, уж лучше не к ночи помянутый нож-залив  
и засвеченный остров, пятно от луча, в кость фамилии въевшийся блик —

лучше это на сон помянуть, чем тебя, вот и всё, что могу я сказать —  
да, и с маленькой «т», но поехало небо, какая там крыша над ней —  
и летит, за ближайшую церковь живьём задевая, какой там загс,  
и листва на невесте дрожит, и блестят зеркала коммуналок жене

и пучина сладка, но не сахаром вовсе, и перед работой не пить,  
а промокший в вине кровавистом кусок будет ровно в нагрянувший час  
на бездонном хребте у всплывающих волн, по которому ты поступил —  
и реальность, как сторож, кричала во тьму, словно тонуций камень кричал

один в деревне чувствует себя:  
поел, прибрал и курит, на крыльце сев,  
открытую в концовку декабря  
спокойно, как в подветренное сердце

распорягает ветер на полях,  
блуждает дождь, пространство отмывая

он говорит: умри, не будь дурак —  
кому-то, доведённому до края

он говорит и продолжает жить  
по тишине, где всё, уже не вечер,  
и солнце, словно вороньё, кружит  
лесов по кругу, вспугнутое вечным

часы идут, не ведая того,  
под ремешком скопившегося зуда

(что плоть его, душа и жизнь его  
грядущему — как общая посуда)

пересохшие так, будто это глаза,  
губы смотрят с дороги на осень  
и не ведая, что и кому им сказать,  
до свидания, Бог, произносят

уходила природа в орду на поклон,  
как волчонок и рысь на закланье,  
и виднелась душа, будто лютый огонь,  
из-под воротника заоконье

холод поля, который ещё не остыл  
и во сне соскочивший со срама,  
на ветру наготы и во тьме наготы  
не хватает наколок и шрамов

только видно во тьме — неклеймёное сплошь,  
всё и так-то довольно серьёзно,  
и над лесом числа и сиянья ни в грош  
очевидно не жалко и звёздно



выходящей из банка на миг поднимается взгляд,  
как на ёлки махровой грядущего тьму и вершину,  
и чего, кроме чуда, от мелкого снега ей ждать  
по огромному счёту— не Бога, так хоть бы мужчину

на границе сокровища с грустным геройством твоим  
позаброшены, как семена безутешного бунта,  
и в таком совершенном отчаяньи так и стоим  
перед счастьем извечным каким-то на самом «как будто»

и оттуда, где чёрного неба и звёзд хор и шёлк,  
именной между прутьями лиры куда— королю—  
этот падает снег, но идёт, будет всё хорошо,  
я не знаю, но я говорю

и как же так не падает оно,  
не ухнуло с коротким страшным матом —  
всё родственное небо меж давно  
непомиримых братьев-акробатов —

и как не гвозданутся облака  
да звёзды со спины отвесным утром —  
но, видимо, не падает пока,  
меж Каином и Каином как будто

на полюсе небесном настаёт  
древесный свет, чуть более возвышен,  
чем край, откуда чертыхает лёд,  
листы стальные комкающий крышам

у времени и смерти над весной,  
у бешеного льда невнятный говор:  
вопрос «когда?» звучит «какой ценой?»

«зачем?» — изпочемучен тишиной,  
как языком, где слова нет такого

погибло, предано и больше не дано,  
пиши пропало —  
с изнанки сердце твёрдо и черно,  
где пригорело

как солнце — рану жгучую внутри —  
и Ахеронку — море —  
так затмевает мир на раз-два-три  
четвёртых горя

не мой то страх, и тело не моё,  
и жизнь чужая  
надтреснута, как длинное копьё,  
разжаленное жало

как зеркало темно, живо, криво —  
Дон, разливаясь  
не обо мне, и вот она права,  
родная зависть

подруга кинет карты далеко,  
чуть потакая  
простой тоске, на кой ты есть такой —  
а там такая

беда и мусть захватывает дух,  
что хватит смело  
знать: с Господом не разругался в прах —  
не знал с ним дела

привет мирам из детского двора,  
где ровным пульсом —  
за небесами синяя дыра  
в развёрзшемся цветку её июльском

любой о нас видал специалист:  
упёрлись мы туда молниевидно,  
где апокалипсис да чистый лист  
одни и видно

армяне зимнего тепла, их проповедь шальная  
несправедливостью в крови гонима на рожон—  
почувствуй, брат, купили нас, пожертвовали нами,  
а это мы, по сути, нас, признавшие резон

мне кажется, что я влюблён, влюблён с концами в воду  
и не тяну, и значит, сам, как оттепель, тянусь  
и ненормально, не туда в меня ложатся годы—  
она отчаянье вот-вот, вечернейшая грусть:

она танцует вокруг себя, хоть держится партнёра,  
и нет меж этих ног стыда, когда всю видны  
от белой тучи платья—тень—падёт на разговоры,  
и меркнет стыд, и нет его под небом у вины

в ленобласть закопанная повторно,  
в какое-то чёрное там село,  
горела звезда, как в аду и горних,  
но в жизни и смерти одних всего

(своей-то рукой добивай, дружище,  
в себе, не в себе, не к стыду, не в новь —  
которое дышит ещё и рыщет,  
как волк-мотылёк на любиму кровь)

отчаянный голос в суровом хоре,  
безвыходный пир посреди чумы —  
раздайся, земля, и смотри-ка, море,  
как вечные похороны, шумит

что, девочка, плачешь, не плачь, нас нету,  
катилась слеза, издавая звук,  
стояла любовь, катастрофа света,  
а солнцем ещё всё равно зовут

снег летит, будто нить за иглой, за чистилищным светом,  
догоняющим рай, как пославшую, сжавшую персть  
и пронзённый снежком да стежком, я так странно вот это  
знаю: скоро весна, и немного нам времени есть

может, близкий тридцатник проглатывает эту зиму,  
ледяной бутерброд перед пеклом, дорогой, весной—  
и совсем за углом темень в окнах б/у-магазина  
смотрит зорко-тепло, как глаза из-под шапки цветной

лишь конец ноября, а над нами решённое небо,  
на зарплату делимый одну, три-четыре, и край—  
перед чуть ли не Богом, под скровом, покровом и снегом  
собирающий вещи февраль

всё так быстро истлело, спеклось, пустота—пустотает,  
землю корни твои, как бумагу с признанием, рвут

и могила моя—резонатор, и я нарастаю,  
дальний грохот копыт, и бужу потихоньку траву

лето было, похоже, назад пару лет,  
растяжимы понятия и связки —  
отношенье имеют, но сложно, к земле  
изошрённые ноги гимнастки

две стопы человеку земли и дано  
опирать на киты и канаты —  
чернозема комок, условное дно  
чернонеба, плацеба константы

вот логично стропила и горы встают  
между мною и годом рожденья,  
из афганского трюка выходит союз,  
но с надтреснутой рюмкой в коленях

комсомолка спортсменка ввязала в войну  
честь и участь свою и столетья,  
от коленок раздрызганных и ломанул  
разгибаться на красный свет я

тут прохладно, но ладно, на обе ноги,  
черноземным хвала небесам-то,  
что из эмбриональной животной пурги  
и лицо развернулось, как сальто

...его и скрестнулся, мерцающ и тал,  
с извечным изменчивый ток—  
не в смысле, того, кого ты не стал  
из проруби, из-под ментов—

а больше—того, кто с ним был и пропал,  
а больше не видел никто

весна доконает осенний надлом,  
и сломано всё целиком—  
на стрёмную улицу выйди в бездом,  
иди проповедуй с захлопнутым ртом  
и сам себя жаль за двоих языком

пиликает рамка на совесть и страх,  
и ветер дубинкой свистит,  
и он каноничен, как площадь и флаг,  
на площадь раскинутый стыд,

что есть тебе власть, кроме там, в синеве—  
и здесь каноничнейший стыд,  
что слепит тебя допрашающий свет,  
раз ты—это кто-то не ты,

а кто за тебя на кресте отмотал  
и автор похищенных строк—  
его и буровит зубовная сталь,  
ржавея, берёт на зубок,  
покуда тебя, беззащитен и ал,  
корнями сосёт цветок



и пух по венам распылён и долетит до Бронной  
отсюда двадцать, двадцать пять прогулочных минут  
того, кто вышел из дверей, решеньем поражённый,  
шаги теряются, но крах несут, несут, несут

спокойно дышит и дрожит отзывчивое лето,  
бензоколоночный флажок над родиною всей,  
и ангел чует, как душа воротится от света,  
и небо хладное в крови своей, своей, своей

в чужих глазах застывший луч, сдержавшаяся темень  
от «кирпича» на воротах калёное тепло  
и явный призрак среди нас, невысшимое время  
как древо в горле у двора—  
пришло, пришло, пришло

в жилые девять этажей виват  
разрухи вознесённой, осиянной—  
и кажется, что ласточки густят  
из этих стен дырявого колчана,

стуча в червиво-белые щиты,  
и талой кровью полнятся зазоры—  
измученная, точно плоть святых,  
тугая плоть мечты венчает гору—

с какой горы, не виданной ли мной,  
двурадостную приподняв поруку,  
стоит черешня, что ли, над весной  
и гонит, словно лошадей, округу

и окриками этими поёт,  
а всё в одно сплавляется течение,  
чему я слышу в голосе её  
великое, лихое утешенье?

свет звезды долетел до меня—и чего теперь, Катя,  
я не знаю, конец или просто всё полностью есть  
и какая-то смерть, на краю этих дел, на подхвате  
беспризорное целое примет на грудь и за честь

мир открыт, как пустующий дом для влюблённой прогулки,  
для ночной безнадёги, и мне распахнуло глаза—  
и не сразу догнал, крепко спящая ты или гулкой  
мрак окраин дыханье к сознанию прижал

свет зажёт и сию, глубиной ощущая невнятной,  
почему про тебя, но не только на звёзды когда—  
на изнанку предплечья, где древний и шероховатый,  
красноватый озноб из меня никуда

хочешь истины—ладно, да ты не подашь ведь руки ей  
ну а если серьёзно, то вот она, самая та:  
на полночном ходу товарняк сходит с рельс—  
на другие

и прямит твою спину разряд моего хребта

на улице красиво и свежо,  
как говорят про холод и закаты,  
по ком темнеет и горит сезон,  
глянь мельком в полужеркало окна ты

в соседней пьют, пакетами звеня,  
товарищам зима всё ярче светит  
и тьму мотает на катушку дня,  
как плёнку с чьим-то голосом вот этим —

о чём вообще на свете разговор,  
не знай ни одноглазый, ни двурогий,  
что там открыл двуликий светофор  
полуночной полупустой дороге

лишь оба его отблеска сквозят  
в подмоченном асфальте заоконном  
и редкой птице нет пути назад  
над серединой мутного закона

товарища встретил, впервой с пятилетней поры,  
в окрестностях чёрной рабоче-колхозной стрелы,  
в глубинах дневной мутно-серой клубящейся тьмы  
все примаргиналены, прикриминалены мы

но время не вышло, но время ещё не пришло  
гостиница «Хаос» на цвет как медвежье нутро  
и жизнь как малина, загранка, изнанка ножа,  
приезжей военщины зелень, темна и свежа

китайские там офицеры, испанский турист  
на лестницах, только назад приводящих и вниз,  
где барышня с тылом крутым на элитное дно  
звала раскошелиться, дорого было оно

там чуйка такая, держаться за зад и за низ,  
там странный удел арендует порой коммунизм,  
и жизнь как малина, и падаль, и всяческий мёд,  
а ты позвонила, порадовав сердце моё

ты в Питере нынче, и ты там себя береги,  
дыши, улыбайся, вставая с прекрасной ноги,  
держи высоту, на причёски летучей волне,  
и мира среди вдруг подумай, что нравишься мне

я там пропадал, прямо в глухо игольное вдет  
я там находился, как город на тяжкой воде,  
и видел в разливе, в её невозможном бегу,  
я чёлку златую на том берегу—

смотря на тебя так, как смотрят на свет и вперед,  
из окон гостиницы «Хаос» на наоборот

это облако, нет, это бла-бла-кар,  
там на заднем сиденье втроём —  
двоё мёртвых и я, так уж яблоко,  
так уж выпало яблоко с яблони,  
что одних мы и тех же краёв —

три товарища в ночь затесавшихся,  
переделкой-дорогой ползём

здравствуй, Саша, Серёга и Коля,  
чужаки абсолютно почти —  
я из нас меньше всех дёрнул горя,  
потому что мне дальше идти

под конец разговора небрежного  
что Серёга, что Саша ответь —  
стало стрёмно здесь жить, будто не за что  
умирать, нечем взяться за смерть

но уже оно зримо и демо,  
что настанет почти никогда —  
женский голос окликнет у дома  
моего мою душу тогда:

я стою, где нас нет, как в квартире своей,  
и в забытую форточку пух  
прошловечный летит,  
и подмокшею зеленью веет  
наполняющий мною мой дом, словно дождь или ветер,  
над холодным июнем где хочет носящийся дух

вон вздёрнутый, как планка, самолёт  
со мной в числе рискнувших на борту,  
и вакуум гражданские гнетёт  
крыла на боевую высоту

обычные гражданские крыла —  
к воронке осиянной черноты,  
и всё, к чему успели мы остыть,  
раскалено, как звёзды, добела

и что мне самый двадцать первый век  
и сей неотвратимый эмпирей —  
с улыбкой рядом северной твоей  
вон я стою, как будто человек

и теплится на пальцах соль вещей,  
горчащая, не чудо ли, ещё —  
как бред и память, кто она вообще,  
слепой ладони, лёгшей на плечо

люди спят в нерабочем приделе, безуютный весьма приют,  
и кого-то на самом деле голоса говорят, поют  
(он чужими скажет губами, на предельный попав вокзал:  
помоги мне, Господня мама—видишь, подвиг меня объял)

где-то между молчаньем и криком, на окраине центра речь  
незнакомое солнце в зените, ровно между «сберечь» и «сжечь»  
на качелях кружит девчонка—что случилось, ногами ввысь—  
это где он, окликнувший сердце—не поймёшь, но остановись

на разлуку души и тела—«как же я без тебя теперь»  
глина в горле, вода в стакане превращается в водку, пей  
и ладонь накрывает крышей, как фундамент открытый, рот  
и по улице губ сомкнутых допотопный трамвай ползёт

содрогнувшийся жгучий воздух над свечой, как простор, нагой  
из разлуки души и тела, яко ветер или огонь,  
вырывается твердь на карте, в изначальном её углу,  
где снимают Адам и Ева этот ржавый пожар вокруг



я засыпаю с мыслью о тебе  
я должен быть подъём, прилив, набег  
я просыпаюсь, одевая сваи

прибрежные в пучину, и вперёд —  
слегка немислим следующий год,  
но так теперь о будущем бывает

июль наш море северное есть  
ближайших крыш не сохнет волнорез  
и взгляд всплывает, как утопший опыт:

взлетевшей птицы чуешь прежний прах  
и перед прахом этим, на кострах,  
из школьного учебника кого-то:

за гаражами безымянна вонь  
по деревьям взбирается огонь  
в зелёные осенние тетради

никто в глаза тут неба не видал,  
но чистый крик, полнейший алингвал  
над нами, и ни слова о пощаде

на бабье лето в день и ночь длинной  
веснушчатое время мне приходит —  
когда-то не бывать тебе со мной,  
скажу я здесь, чего нельзя ни в коем

и перед откровенным никогда,  
гудящим, полным сил, неизлечимым —  
я навсегда и есть, я — навсегда  
и нет другой у вечности причины

трамвай пройдёт под выцветшим мостом,  
принявшим грязи и сиянья много,  
и привокзальный беспробудный дом  
лиричной дрожью проберёт дорога

пока оно смотрело на меня  
с той стороны Москвы, в просвет дворовый —  
зелёного и жёлтого огня  
безмолвие под небом голубого —

никто не знал на свете, ни судьба,  
что делать с этим бесконечным чувством —  
как в поле, что ли, бить и погибать  
с того, что жизнь по смертному плечу нам

я знаю, всё сожги, оставь тоску одну лишь  
несбыточный позор с лопаты, без следа  
в дымящуюся топь, где поздно мы проснулись,  
но лучше, докажизнь теперь, чем никогда

но что-то говорит отдельному кому-то  
(угрюм-бодряк с реки, и небо по нутру  
скрежещет в дальний путь)—ты знаешь ли, Иуда,  
кто ты такой, пожар смолящий на ветру?

тебе с гремучих крыш Фавора ли, Синая—  
всего лишь дикий свет на рану, синий йод  
по фильтру ад и рай, когда твоя вина я  
и на твоих губах—дыхание моё

рядом с поездом жить не последняя вроде тоска  
не смертельная вроде дерёвня  
но чуть что, по столу, отзываясь, ползёт стакан  
целеустремлённо и стрёмно

и от тусклой еды продирает порой глаза  
взглядом в яму кастрюли ржавой,  
как повсплывших везде фронтовых черепов из-за  
кипяток земли дорожает

слушай весь этот ярос и ужас, и что ещё, боль—  
не людей, но несущие кости,  
проклинаят кого-то и чью-то последнюю роль  
инстинктивные разумы коих

со стыдом и проклятьем полегче стоять дотемна  
здесь, на совести чёрной крыльце—  
злость и голод земля ни на чём, фронтовая слюна  
у бессмертных пока на лице

яблоко всплывает из Невы,  
за спиной поют похабну песню-  
с вами всё понятно, что же вы,  
утопитесь или лягте вместе

простывает и темнеет день,  
но пока светло ещё и странно,  
что они — раздвоенная тень  
холодов грядущих богоданных

не шутя уста мои глухи,  
но бывает, вырвется случайно:  
это жизнь и воля той руки,  
за мою схватившейся над тайной

скоро осень, жёлтая гроза,  
на черте тепла стоят, знакомы,  
детские безумные глаза,  
взлётные огни аэродрома

я думал, это тонкий лёд, а это лётный снег,  
и потому что есть земля, он там упал, где нет,  
и потому что нет земли, он там упал, где я,  
на чёрном тает рукаве, земля ему, земля

был слишком тонок это лёд и потому он снег,  
он то, что нет, на то, что есть, прощупывал, как свет,  
и падал всюду, словно был на небесах один  
огромный звон от тех глубин, где почву находил

на ветер и фонарный сверк, на влажные следы,  
на крыш покатых и машин похожие ряды,  
на расстояние до лица, на ноги до шагов,  
на дым и холод, и на всё, и на ничто готов—

и было видно на лету, какой там, Боже, лёд,  
на ровном месте в темноту едва ли не влюблён,  
какая почва я ему, хотя не без того  
комка в руке материка за чёрным рукавом

из разговора или тела вышел  
во сне, где проживал когда-то, я—  
и вдруг себя красивого увидел,  
как гвоздь, которым прикрепло меня  
к тому, чего успел я и не видел,  
к прибытию состава бытия

приятно ли тебе, и мне приятно,  
что если бы мы ехали домой,  
то был его локомотив обратный  
небытием, такой же, как прямой—

во сне и наяву летали тучи  
с тарзанки в пруд холодный и горячий,  
а мы, кто мы, по образу хурмы  
плод разложения великой и могучей  
отечественной мировой войны

всё это к поножовщине приводит,  
но иногда такой мелькает сдвиг,  
что поезд на секунду-две приходит  
к отечественной мировой любви

на покурить и поцелуй не тянет,  
какая жизнь, какую там судьбу  
на этом полу-полу-еле-стане—  
лишь мир мелькнёт, как инопланетянин,  
как я, со звёздным отчеством на лбу

видно звёзды городам,  
нету вечности помешкать,  
по зияющим следам  
чуешь львиную подбежку

окружающий живьём,  
чуть задумайся под бездной —  
мы ведь в космосе живём,  
говоря черно и честно —

в русской, в частности, ночи  
из любого ниотвсюду  
зверь пространства не рычит,  
глухо прыгая в рассудок

страшный страшно, сверх небес,  
будто истинная правда,  
что конечен ли, что без  
мелкой пулей космонавта



1. надежды мало, как в Москве-реке,  
а горя много, как в Неве,  
и уважение на белом волоске  
висит, мой недешёвый человек

и в нас на этот волосковый взвес  
достоинства советская там урна  
и в ней, как лёд весенний у завода, рельс  
вокруг Сатурна

2. так вот кем с Ладожского прёт вокзала  
и кем разит береговой гранит  
он не Господь, как девушка сказала  
да он нормальный, парень говорит

нормальный не Господь, пой аллилуйю,  
нормальный, да, а я так не хочу,  
а должен, должен, как черёд июлю  
(коротколенная длина земных кольчуг)

и шов сварной совокупленья поцелуя  
бульварному сатурнову кольцу

3. надежды мало, как в Москва-реке,  
а горя много, как в Неве,  
и уважение живёт на волоске,  
второй ты мировой мой человек

пост-мировой ты мой и пост-второй,  
не грех занюхать тормозящий страх  
так медленно пред продувной стеной  
из призраков живых, как шов сварной  
мерцнувших меж обочинами трасс

за стеклом у столицы кружится контуженный снег  
о любви и воде раскрывается рот темноты  
и «сейчас», будто рана со швом, совпадает с «навек» —  
или череп с лицом, или вечное счастье с простым

или вечное горе с фантомным, обратно даря  
отсеченное третье крыло — я ведь чую, что не  
человек, если где-то не плачет в подушку петля  
пилотажа лица, над бездонной землей, обо мне

но контуженный держится снег, без гвоздя и крыла,  
на гудящем весу криулями, винтами ведом —  
что-то помнит пилот и кружит над землёй, как земля  
без посадки и дна —  
над своей несмиримой звездой

поутру, стоя рядом с каким-то, который не сел,  
недосып, натошак, общий транспорт бегом на работу:  
если ближе на шаг—это камера, кто бы ни съел  
с потрохами на завтрак кого тут

не-не-не, я скажу этой глыбе, которую ты  
называешь без отчества, признанный сыном полка ей—  
да, по юности знал и любил, а созрел и остыл  
я теперь и родства не алкаю

не-не-не, я скажу, гиблой жизни ты литинститут,  
гармонический целораспад, псих со словом в кармане—  
все мы чуждые дети не нашим отцам, в темноту  
преткновения просранный камень

буратины, големы в кредит беспроцентный врагу,  
из китайских лесов говорящая злостная мебель,  
и у речи моей, как у жизни и дерева у,  
два конца, под землёй и на небе

я твоей неприязни субъект и взаимно никто,  
это поза, да нет, это чувство, упёртое рогом  
в дostoевскую стену: родное меж нами есть то,  
что зачем-то позволены Богом

на ещё один берег реки, словно рыжий кустарник,  
тусклый свет из посёлков какой-то повыщенной нарнии —

грязь, бумага, листва, кожа женщины, слякоть и свежь,  
музыканты, таланты, засранцы, лопатой их ешь

да со всем их дерьмом, всех, кому ты дала или нет —  
бандитня, полководцы, дельцы и чиновный совет,

вольны каменщики и стрелки, эльфы, тролли и черти,  
по однушкам кочевья, работы, больницы, концерты,

запах рода и дури в парадных и чёрных ходах,  
март надежды, война, поражение, шухер и швах —

мир единственный, вот и утрата на вечное время —  
мир ещё один, вот и нон грата, последнее племя —

и под ангелом бывшим вдали огрызается зверь  
(человек — это то, что приходится делать теперь) —

в замирающем сумраке сиром, оттуда, сейчас  
взором мудрым и лютым циклопым уставилось в нас,

что за нами стоит, что за нами горит без исхода

человек — второй муж твой, судьба,  
второй муж твой, свобода

знак победы в тот глаз за стеклом —  
(отпускай, мол, уже, на двоих) —

так тебя развернуть тяжело на заветных снегах соляных,

так внимательный ветер к назревшему сердцу притих,  
что и сам я один из от прошлого века твоих

стержневая сбывается боль, сказка дивная точно,  
этот голос отплытия, голос отчаянья мой —  
и циничное время приходит на нежную почву,  
попирая её и опоры не зная другой

снег лежит, как попало в меня,  
не поправишь зелёной устои —  
но за ворот пальто, в засердечную шаткую тьму:  
как бы я ни кровил тут, а сердце не столько стоит,  
чтоб его никому не отдать самому

а душа это я, произволу дыханья подсуден,  
ветер носит посев и поёт, как матрос, на дворе —  
то ли будет ещё, страх и трепет, а то ли не будет,  
на подставе монетка стоит, на изъятом ребре

холод гнётся к весне, и вопрос призывает к ответу —  
пред предметом молитвы, который так незамалим,  
жизнь пустая стена меж окон, жёсткость внешнего света,  
и карниз для цветов, и посуда для дальней земли

в обитель, да не зла, а трудных нег  
пока не перевал через колено,  
здесь нас в гостях потерпят прибивек,  
а после плюнут в суп живой змеиным тленом

жена бандита выглядит тип-топ  
и так идёт, тип-топ, тропой везенья  
вон там, где простираются в ничто  
пейзажи ненависти, страха и презренья

он смотрит в зеркало и думает поесть  
и вспоминает собственное имя,  
не просекая, перед чем родная честь,  
вообще-то говоря, неуязвима

на тридцать пятом, что ли, где он мёртв,  
и мне на высоте немного грустно,  
и кто-то меня любит и поёт,  
но не о том, а далеко и просто

1. вывезший то, что дал в ночь на колёса рок  
(брат по просторам, да  
враг во народе, нет?)—

чей становой—Урал,—страсти свои сберёг,  
но не настолько, чтоб не выпирал хребет

(видимо, местный бунт землю приподнимал,  
физику подвигал прамиллиарды дней—  
можно сквозь Божий лик свет протащить не мал,  
этого—повольней)

нет, он не сдаст ферзя, в чьих интересах сам,  
но полетит с доски над головой ладья—  
лётчику ли не знать, что первотяга там,  
а уж потом нас всех девушки и родят?

вытесненные вверх буйством ядра, круты  
склоны, бросая тень во глубину затем—  
горы в моих глазах, не до небес, но ты  
знаешь, зачем я здесь,  
пусть даже я не вем

2. течёт ручей, как лес из одних берёз,  
и в белой дымке—всё дальше, прозрачней, чище—  
и в белой дымке девичьих будто грёз  
теряется мозг, и даже костей не сыщешь

так мир уместил с лихвой, что в нём только есть,  
но он не оно, он заговор гор и сговор,  
он та высота, куда карабкался крест,  
где ворон парил над страха зелёным зёвом

где он опирал на дыхание страха крыла  
и крест плотяной мой ещё этим дышит на память

и согнут во сне, чтобы не соскочить с тепла,  
как там—чтобы не оторваться от узкого камня

и синий дымок над огнём высоты курим,  
священный дурман пространства, небес предтеча—  
и тянет лицо почесать о берёзу с горы  
соседней, о белую бездну нутра предплечья

3. ты думаешь, то приказ, а то обращенье просто—  
да вон, мол, иди в упор тут, да вон, мол, иди, тут здесь—  
где тело захлёбнуто в камне и небе, и эта россыпь  
зелёных прожил повсюду, откуда уже не слезть

и я бы не удивился, прострись тут лицо Господне,  
живое и деревянно, и бровь по-над бровью чуть,  
как разные близкие горы, велящие на свободе  
с вершины другой вершине рукой до руки метнуть

и я говорю с высоты, где скалы велят и меры:  
прямой и короткой речью блестит и сказан Миасс  
и с разных сторон воды идут к водопою звери—  
один безо рта, безлапый,  
другой—на когтях, зубаст

вот руки мои умрут, всей волей своей и целью  
живите, не бойтесь, вечно, и ты не грусти почти—  
вот руки мои умрут, об эту высокую землю  
ободраны, как об лицо твоё, ободраны до кости



кто умер в августе в лесу, вдохнув просвет,  
над головой маячившее поле,  
тот персонаж, кого его уж нет,  
а я люблю, сказала лирика, всё больше

тот, кто затеявший с немелочной тоски  
своей освобождение постели,  
и все вы в ней совсем себе близки,  
в одежде сидя с краю даже если

оставивший лицо своё в толпе,  
в смятения качнувшиеся дали  
тут человек закрылся, как ипэ,  
его ценой бессмертны иногда вы

и всё вам перелётная вода,  
но незабвенно вам, и вольно, и потребно  
с реальностью кромешной совпадать,  
но в незасыпанной курить могиле в небо

из троллейбуса сверкнёт странный взгляд  
сквозь бульвары на большую деревню:  
чьи-то скулы, словно вилы, стоят  
над ромашками, травой, над сиренью

и опять приостывает накал  
солнца ноющей тупой длинной боли  
и зелёная покуда тоска  
дорастает как-то не до любви:

где бы ярости такой признать  
(даровую нам должны, даровую)—  
всё на свете принимать и признать  
как расплату, вашу мать, дорогую

я плохо слышу голос твой, он кроет с головой,  
мне хочется не быть и есть, мне хочется домой,

где сердце по уши в крови растёт над головой  
валгаллой, влажной до любви, под вечною волной

да, ты годишься мне в отцы, в отцы и матеря  
но я не сын тебе, не сын, большая часть меня,  
большая слишком часть меня, подвинься за края

застенки вольные долой крушащая стена,  
коса и косность, Боже мой, сплошная истина

выносит стёкла на лету двор взорванный ковёр  
как за Юпитером Нептун в их вечном кто кого

в родных стенах, в родных волнах  
пятой прижатую сполна  
змею педаль топя

в том вечном я тебя  
в том вечном я тебя

как за Юпитером Платон, пронизанный ярмом,  
волну растящий под волной,  
и за отчаяньем пожар, захваченный ядром

движок простора, эйдос-фикс, давление и зной

хватило б тела моего, небесно ли оно —

пределов дикая гряда, и каждый заживо меня  
ужасно превзошёл

в отцы отцам и матеря  
годятся, чуждые всегда,  
как будто мало их всегда сдержать мой произвол

ни Летова, ни СПб, ни Лену  
давно не стоит, не за что, ты что,  
как безработную исписанную стену  
и с воротом отпоротым пальто

не брат я мне, а кто я мне, кто знает,  
куда сбываться детству моему,  
но в памяти по ящику зияет  
скрип колеса, откуда, почему

да это всем послышался, хоть тресни,  
сберёгшего безумья Мандельштам —  
и скрипка рыжая бежит, схватив, из песни  
по верной встречи брошенным местам,

где облака волнуют кровь, и щемит  
тупой, как ветер, но ещё смычок  
беззвучную натянутую шею  
в запёкшейся политике дорог

что мои метастазы тебе, потерявшая сына  
и вины моей в том ровно глины сочащейся ком—  
скорбь вцепилась в него, бредит мясом несчастная псина  
и дрожит, я люблю тебя всем запустевшим нутром

потроха похорон—дыбом, берегом гнёт позвоночник  
за размотанной бухтой глядит несказанный, святой  
ад в глазах у тебя над моей наготой полуночной  
и полуденной и полнокровной моей наготой

сколько помню себя пять минут на уколе у горя,  
мать Божья, наверх мою душу кнутами свистать:  
одичавший матрос посреди непомерного моря—  
не смотри меня так, не смотри, не смотри меня так

перевёрстанное из пропащих стихков тишком,  
дерьморэп, ржаворе-  
промежуточное реле  
там, где тонко

там, где тонко и рвётся, и бьётся  
в углу крыса током,  
потому что в углу, а вообще она горный лев

есть угла и вершины печать на её челе

ненавижу, зла не желаю, знать не знаю и не люблю,  
выручай просто так, кум-вакуум, эвакуатор

бейся, крыса в углу,  
львиная крыса, угу

солнца милого аккумулятор

оставь её, как плотную любовь,  
меж кислотой и свинцом—  
животное  
животное  
животное  
несчастное  
сырое  
существительное  
брань  
жалостная яростная брань

душа льнёт к небесам, как крыса к крысе,  
они пустые, чистые, как бедра

душа льнёт к небесам, как крыса к крысе,  
киса, рысь,

о, полу-хищная, пол-жертвенная тварь,  
в чистилищах привыкшая ристать

подверженная собственным клыкам  
из вечности займы и под процент лакать,  
и мысль об этом, как его, самоубийстве  
разлуки —

эй, брысь, не будь мертва, а будь жертва  
животное горячее Христа

1. кто пахнет из-под брезента, я или Бог  
лучше бы я  
но опознавать не стал, потому что трус

помог им из кузова вытащить плот, не плот,  
кого-то на нём большой, но подвижный груз

и длинного запаха чуял я только тень

и зеркала видел косящий блестящий ок  
и был я его невыкатившийся зрачок,  
потому что спал, накрыв подоконником лоб

заканчивают предательство, стыд и яд,  
а свет не заканчивает ничего никогда

2. чуть умер, и сразу же спрашивают в голове,  
да чтоб вас налево, не сам ли, не речь ли о ком,  
лежит в ненормальном гробе

и кто вам сказал, раз воняет, то не воскреснет,  
и кто вам сказал влюбляться на холоде внешнем  
и думать, что это прокорм

а это про то, что ходит паршивый дом  
звериным гнездом,  
как под алкоголем хорошим плохие кишки,

когда изчервлённые стены со светом близки,  
и в проданных окнах встаёт жёлтый ком



3. откинь провонявший брезент, разгреби лучи  
ползущие и шипящие рылом руки

не Бог и не ты потерпи там над мёртвым, а кто там —

из зеркала неба чудовище солнца глядит  
в родимые ока  
и всё воскресает, и всё навсегда молодит  
конешно, конешно, конешно —

цветок трупной дури, свет змей,  
клейкая зелень камней,  
медузы девичья нежность

4. ягнёнок ублюдок волка

отпуская вино, не служившему шутит про дембель  
мол, не поздно у нас, ветер дунет, вспыхнет шарик, туда-сюда —  
так и хочется вслух, перед годом свиньи и при небе:  
к подстрелившим оттуда ребёнка не кисейна и так судьба

за чертами лица тяжело, уязвимо и хтонко,  
где эмпатии бездна и пафос, и с балкона шажок на балкон,  
далеко до меня жизнь бедней и кромешней утёнка  
с альбатросовыми крылами распростёртых над ночью белков

лишь случайный Адам дээнка планетарные в Еве  
и топор в птичьей лапе созвездья поднимает, чтоб серой весной  
некрасивое детство одной из летящих, как север,  
в междуглазое кануло небо и выгиб земли челюстной

1. трамвай заблудший, брякнувший, где жало,  
вывозит за базары за вокзалы  
в печах окон стоит огонь печальный  
и в панике, прости меня, пожалуй

так сердце мне сжимало и отжало  
приморское болото вечной Кати

на небе газ горит зарин иприт,  
бессмертию о числах повторит

безродного рождения пиит  
космополитый пользует иврит  
с той самой стати

и смерть в коленках узелки сечёт,  
и кровушка-муровушка течёт  
звезды звезде гранит сарафонит  
(сава хвани, сава меня хвани)

2. к силовой копилочке льнёт шекель,  
к той, что силой берётся и песнью,  
всё что делаем мы всё равно что молиться в аду

и в угаре устатка порой прижимает к щеке  
крест, ребёнка, мешок со строительной смесью,  
в ней душа и язык скоро лето и в осень пойдут

3. прорезается лист и вгрызается лист резной,  
пахнет почками и грозой

4. и трава между шпал подставляется поезду люту—  
я там есть, куда прут нефтяные могилы уюту,  
нефтяные утробы ознобо-зелёному утру—

вдоль канала несущие тополь объятья раскроет,  
пальцы воздуха тронет запёкшейся свежей корою

и растение, гонимое вверх, сознаёт наводненье,  
в человеческой пене, в торжественной яростной пене  
так восходит вода на помойные эти ступени,  
отмывая, и кроет их плотью—мой ангел, ори,  
мы под кайфом—улыбка восходит в глазницы мои

и обоссанный лифт открывается в чистое лето,  
жжёной печени куст полон неопалимого цвета,  
и снимают кевлара пиджак скалы чёрные те  
и снимают кевлар наготы скалы чёрные те

самый лучший отец у меня, самый лучший отец

5. но сволочь мы, а что ещё, влачим,  
как вешних денег мутные ручьи  
(не наши мы, а суд их знает, чьи)—

глаза теплеют в пятничной ночи,  
и меркнет в струях гасящих росала—

как голая мечта, что не рабы,  
наследным одиночеством резьбы,  
несносно острым, быть не перебыть,  
в две смены обе тверди нам строгала

6. я по ромашке прав, не прав, не прав,  
и нужен мне твой параллельный нрав,  
и жётся пусть невыразимый прах

7. и голая мечта, что нет конца,  
так резала два сомкнутых лица  
на этот небозем противосердый—

кудрями чёрными двоюродной сестры  
(пахать нам лбы упорны и остры,  
как нелады Арагвы и Куры  
ещё до самой, самой ранней смерти)

8. и куда нам теперь, когда берег равняется борту,  
схватить эту цингу никакому не верится порту

что теперь, когда правда—скала челобитная вдребезг  
перед призраком, вздёрнувшим руль, но проташенным через

меж бортов берегов, на подводных углах судоходства  
тьнь внезапно почувствует пот свой, и род свой, и плод свой

не одним лишь закатом, восходом, выходит, кровела  
тьнь, погиблый голландец навек всех надежд каравелла

на ревнивый к нему, на заставивший или заставший—  
океан, выходящий на берег нуждавший и ждавший

и с косого крыла благодати на катапилоте  
Бог, летящий на скалы голодной и праведной плоти

двух времён вперемешку пласты,  
и щедрый братья кайрос и хронос  
общей смертностью года платить  
за весны сокровенную скорость

как труды и молитвы, дошёл  
белый свет до лица ровно к сроку  
тянет в форточку чьей-то душой,  
на ветру полнокровно сырою

переполненный движет трамвай,  
в напряжённую общую нишу  
посмотри, как река, не моргай,  
как лицо я своё ненавижу

небо молча темнеет от слов,  
но не лезет в святую гордыню  
вплавить в жилы осколочью кровь  
жизни-дочке да миру-сыну

живой я там не нужен никому  
живой я там пройдет и не заметит,  
где полицейский углядел жену  
мою, искавший понятых на свете

фальшивая пятера, свет ночной,  
соседи у нее полубандиты  
сады-колодцы семени Сенной  
по циркулю рассеяны, разбиты

дерьма и сказки помесь по ножу,  
едина дрожь луны и Грибанала  
мне не было с тобою хорошо,  
а что осталось, то и оставалось:

реальности сомнительный залог,  
не жить—не быть ее крутых намерений—  
тоска, неисцелимая, как зло,  
покуда в горизонте не уверена

не горюй, что сгноили нас всех на корню, не горюй,  
лезть под повод был поезд железный, теперь только жить нам—  
возгорится гнильё и взорвётся дерьмо на корню,  
когда станет его до такого, что не уследить им

налитыми глазами взгляни на меня, что я мразь,  
из соломы и глины своей, из родной подноготной—  
правда это когда про последнюю палево власть,  
про меня в твоём случае, да про тебя в обратном

бродит похоть, как ветер, сама темнота меж осин,  
это просто шевелится звук и движение стонет,  
к Богу жалости нет у тебя, он не тот, кто просил—  
просто дышишь на крест учащённо, как перед погоней

я один раз поклялся, иди остальное огнём,  
я всегда уцелею, я конченный, конченный атом—  
просыпайся, животное, выйдем в ночное вдвоём  
под иссиня-зелёной звездой штормовой невозврата



застенный гул так комнату трясёт,  
единству смотрит похоть в тёмный рот,  
по пояс между молоком и мёдом,  
а то ли боль, но в глубине щедрот  
они принадлежат всем сразу звёздам

от золотой я отхлебнул пучины,  
всё прощено, и прошлого нема,  
она сейчас то самое сама,  
простреленная дальних фар лучиной  
и строгая, как катастрофа, тьма

пред сердцем атома стараться не грешить,  
как отжиматься перед смертью тоже дело,  
ночная улица родной души  
сказала, комнаты ночной потрянув пределы,  
как будто горя меж двоих родное тело

пространство кому заново взорвёт,  
единству смотрит похоть в тёмный рот,  
по пояс в толщах молока и мёда,  
а то ли гибь, на острие щедрот  
на обе взгляд всех сразу звёзд намётан,  
и бездна другим именем зовёт

предвечных волн совсем черна вода,  
и до сих пор то небо их, то дно их  
плевком, как мать, умыть и оправдать  
не против беспредельное родное

кристальный стыд на свете быть, любя,  
подведомстью лихого эмчээса,  
завися всей душой, как от рубля  
топорного башка зависит леса

возьмёт своё поганая любовь,  
а там уж сам возьмёшь с неё чего ли  
но что-то топора её Рублёв  
(на хлеб железа—золота и соли

задатки и ошмётки, полусны)—  
оставит сам неёбаную чашу,  
где смотрят с туч три мачтовых сосны  
в меня, а больше некуда, как в чашу

вот Меркурий, он так, для отмера,  
вот неверия точка Венера  
чуть подальше, невидимо, вера,  
где на лестнице сумерек нефть  
серебром ключевым прозвенела  
от твоей ли квартиры, да нет

не подбрасывается монетка,  
молча плавится изнутри,  
в мелких контрах и контурах снега  
капитальный сбывается риск

продаёшь ли занюханный кафель,  
сторожишь ли завод, не завод,  
бесконечен оборванный кабель,  
всё вот так, так и будет вот-вот

у теней этих длинные ноги,  
а под ними всё меньше земли,  
у кромешного моря в цейтноте  
сепаратен всё больше залив

о, пространства уход на работу,  
в областную за ней заботу,  
дальше материкова свобода,  
тужься, тужься давай, атеист

с нами будет всё ясно про Бога  
поколения через три

дошёл до того, что меня бережёт подсознание  
и кажется мне сны про любовь, и темно до поры,  
что выразить хочет мильён километров сиянья  
вокруг абсолютно простой монолитной дыры

что выразить хочет инстинкт расширения и сжатия,  
куда ему скинуть никак, словно шкуру, транзит,  
о чём эта кожа и мышцы сияют из платья  
и что на краю у приязни и жизни звенит

а чистому небу бывает токсичен твой щёлок,  
забралась пантера, прогонишь ли кошь, на амвон—  
и я иногда зачем ты суров так и долог,  
прости, не пойму, как себя самого

мы всё заслужили, но ты посмотри, как молод  
любой пред тобой, из бессмертия моего

как бранное слово, кипела сырая земля  
в окопе для дома жилого  
и больше никак это было назвать и нельзя  
то самое слово

казалось, что люди там мёрли себя, на своих  
коленях, карачках, без крова,  
ещё не захватившие на аид,  
но был он уже разворован

закручивала и сжимала раскопа квадрат  
вот в этот всему эллипсоид  
планета на пьяных глазах, как когда  
вопит на картине лицоид

и в дикой тоске и безбожной кипел землеём,  
у ямы строительноградской  
края продолжались в конце без неё,  
и рыба бессмертная билась, как сердце твоё,  
снаружи тебя я совсем не видал, моя радость

математической тропой на водопой  
сурового, случайного расклада

я произнёс: какой же ты тупой —  
на звёзды сквозь сырое небо глядя

подталый снег подрагивал травой,  
на темноты бугре блестели дачи  
Господь с тобой, какой же ты тупой,  
зачем так надо, что никак иначе

и режешь без ножа, куском иным,  
как тишины оставленное чувство:  
глаза невесты у дрянной цены,  
ты видишь, и какое там кошунство,

что в заграничный звёздный коленвал  
психею, будто платину, вмотало  
и я на всё с простых высот плевал  
от вкуса драгоценного металла

интернет зависал темноты, но показывал ужас

я дышал тяжело на дно,  
продышал и скажу одно:  
через несколько зим было б так же нутро жим-жим

после смерти родня остаётся роднёй,  
батин брат мне не стал чужим

интернет отвисал дождя, растормаживал ужас

нет, не божий был стресс,  
но долгий, как первая служба  
привезённым подросткам долга  
(пред реальностью мозг лагал,  
но над ним птичка фатума неистребимо жалка)

чья-то в сумерках кровь как фонтан от сердца до уда,  
то же небо в окне, в ушной ракушке улицы гула

боль и страх нетерпимы,  
любовь вызывает жизнь

## Содержание

<i>Наталья Черных. Под летным снегом</i>	3
«посреди бела дня, словно Мги посреди или Тосно...»	6
«примолкшая в пути, как под не первым снегом...»	7
«удивляясь присутствию в них...»	8
«над центром областным пылает и синеет...»	9
«и я оставлю это никаким...»	10
«так глубоко, что всё с той поры...»	11
«черноглазую трещину выну я и посмотрю...»	12
«я эти посмотрю порой ладони...»	13
«всё равно что у моря погоды и хлеба просить поперёк земли...»	14
«один в деревне чувствует себя...»	15
«пересохшие так, будто это глаза...»	16
«выходящей из банка на миг поднимается взгляд...»	17
«и как же так не падает оно...»	18
«погибло, предано и больше не дано...»	19
«армяне зимнего тепла, их проповедь шальная...»	20
«в ленобласть закопанная повторно...»	21
«снег летит, будто нить за иглой, за чистилищным светом...»	22
«лето было, похоже, назад пару лет...»	23
«...его и скрестнулся, мерцающ и тал...»	24
«и пух по венам расплён и долетит до Бронной...»	25
«в жилые девять этажей виват...»	26
«свет звезды долетел до меня – и чего теперь, Катя...»	27
«на улице красиво и свежо...»	28
«товарища встретил, впервой с пятилетней поры...»	29
«это облако, нет, это бла-бла-кар...»	30
«вон вздёрнутый, как планка, самолёт...»	31
«люди спят в нерабочем приделе, безуютный весьма приют...»	32
«я засыпаю с мыслью о тебе...»	33
«на бабье лето в день и ночь длинной...»	34
«я знаю, всё сожги, оставь тоску одну лишь...»	35



«рядом с поездом жить не последняя вроде тоска...»	36
«яблоко всплывает из Невы...»	37
«я думал, это тонкий лёд, а это лётный снег...»	38
«из разговора или тела вышел...»	39
«видно звёзды городам...»	40
«1. надежды мало, как в Москве-реке...»	41
«поутру, стоя рядом с каким-то, который не сел...»	43
«на ещё один берег реки, словно рыжий кустарник...»	44
«стержневая сбывается боль, сказка дивная точно...»	45
«в обитель, да не зла, а трудных нег...»	46
«1. вывезший то, что дал в ночь на колёса рок...»	47
«кто умер в августе в лесу, вдохнув просвет...»	49
«из троллейбуса сверкнёт странный взгляд...»	50
«я плохо слышу голос твой, он кроет с головой...»	51
«ни Летова, ни СПб, ни Лену...»	52
«что мои метастазы тебе, потерявшая сына...»	53
«перевёрстанное из пропащих стишков тишком...»	54
«1. кто пахнет из-под брезента, я или Бог...»	56
«отпуская вино, не служившему шутит про дембель...»	58
«1. трамвай заблудший, брякнувший, где жало...»	59
«двух времён вперемешку пласты...»	62
«живой я там не нужен никому...»	63
«не горюй, что сгноили нас всех на корню, не горюй...»	64
«застенный гул так комнату трясёт...»	65
«предвечных волн совсем черна вода...»	66
«вот Меркурий, он так, для отмера...»	67
«дошёл до того, что меня бережёт подсознание...»	68
«как бранное слово, кипела сырая земля...»	69
«математической тропой на водопой...»	70
«интернет зависал темноты, но показывал ужас...»	71

---

Николай Васильев НЕФТЬ ЗВЕНИТ КЛЮЧАМИ

Дизайн и вёрстка: Дмитрий Макаровский  
Дизайнер обложки: Евгения Бутько

Печать цифровая. Тираж 100 экз.